

Среди современных писателей имя Василия Килякова занимает особое место. По кругу литературных героев его можно отнести к когорте деревенских прозаиков. По накалу коллизий и заострённости идей — к интеллектуалам городского типа. По проникновенности исповедальных записок он кажется потомком тех публицистов, что, подобно Достоевскому, сплывали в искреннем книжном слове традиции светской справедливости и духовной ответственности.

Ему досталась нелёгкая творческая судьба. В молодые годы он входил в литературу вместе с Олегом Павловым и молодыми авторами этого круга. Но если у всех остальных книги выходили пусть и с житейскими трудностями, но последовательно, как бы продолжая одна другую, у Килякова на протяжении десятилетий была только одна издательская свобода — исключительно журнальная. Так случается, что писатель пишет много и самое разное. Но книготорговец и редактор все более погружены в сиюминутные заботы. Их близорукие глаза, кажется, не видят, глухие уши — не слышат, а бойкие руки неустанно переключаются с места на место сочинения сугубо либеральные.

Василий Киляков, в самом начале 90-х неожиданно ставший лауреатом западной радиостанции «Немецкая волна», сегодня оказался фигурой совершенно отдельной. Писатель-почвенник, он погружён в тонкую нравственную рефлексию. Хорошо образованный гуманитарий, он склонен обращаться к вещам простым и всем понятным, дабы судить о сложном. Православный русский человек, глядя на нестроения окружающего мира, он во многом винит самого себя.

И вот эта (отчасти похожая на примеры монастырских старцев) строгость к своим поступкам и своему бездействию разительно отличает Килякова от многих литературных ораторов, готовых яростно судить мир и расчётливо молчать о своих собственных неподобающих шагах. О таком свойстве Василия Килякова обязательно нужно помнить, когда читаешь его рассказы и повести, когда следишь за его рассуждениями о самом дорогом и больном.

Исповедь — не мазохизм, а горькая трезвость по отношению к своей жизни, печальное понимание того, что ты, скорее всего, не достоин похвалы и прощения — не только Бога, которого и представить себе не можешь, но и всякого честного, искреннего человека. Вместе с тем такое состояние души не вступает в противоречие с человеческим достоинством, с сердечной силой — той самой, которая подразумевается в апостольском слове, когда говорится о «тёплом» и «горячем». Именно горячее чувство негодования, жажда справедливости, так свойственная русской душе, пронизывает каждую страницу прозы и критики Василия Килякова. Этим он похож на Шукшина, которого почитает и любит, которого принимает как духовного тезку и не даст в обиду никому.

Вячеслав ЛЮТЫЙ, литературный критик

...Странно это наше время нынешнее. Оно как будто предсказано всем творчеством В. М. Шукшина. Вчитаемся глубже в его рассказы и попробуем проследить, понять что говорит он всем нам, читателям, — о чём напоминает неким тайным, скрытым «вторым планом» многих рассказов. Он словно давно, задолго до своего ухода, предчувствовал, что в недалёком будущем люди станут... холодны и неинтересны друг другу. Неинтересно станет читать, неинтересно слушать: «и охладет Любовь...».

Не интересно не только оттого, что скучно станут писать, о незначительном, о неважном... Многое перевернётся с ног на голову. И вот мы видим обилие «фентези», постмодерн сплошной, порой скучнейший. Где же литература, предметная, ведь именно такой, «той» подлинной литературой и славна Россия? Премии же за «Большую книгу» — сегодня, в основном, раздают за исследования, а не за собственную литературу. Быков о Пастернаке, Варламов о Горьком, Лев Данилкин о Ленине. Или «Лев Толстой: „Бегство из Рая“ Басинского... Премии есть, а где же литература? Неинтересен стал сам по себе человек, не о чем стало писать? Настоящим большим писателям был всегда интересен Человек. Живая проза сегодня дышит, она есть. Но только в глубинке России, и это несомненно, — но кто её оттуда выведет? Кто представит её читателю? Сколько ещё просуществует эта подмена, что будто бы „Петровы в grippe...“ или „Русская канарейка...“ — это и есть „национальный бестселлер“!

Так что же: человек и впрямь неинтересен им, грантами отмеченным, не единожды приглашённым на разговор к президентам? Или это от бесталанности? Или и то и другое вместе и — пришлые всё это люди, являющие нам свою «самодостаточность», рассчитанную на пиар и поклонение «своих». Им будто бы «независимым», категорически — не «почвенникам», перевирающим и передирающим русский язык, что им?.. «Перекати-поле», что оно знает о корнях своих? Ценит ли оно отпавшие за ненужностью корни? Можно ли ценить то, чего нет? Оно, это причудливое растение, «прыгает, как мяч», по слову А. Фета, где-то — да и прибьётся... Ему, этому «перекати», любая пустыня хороша. И чем дальше, тем лучше.

Но Россия — она сама «корневая система», симбиоз наций и культур, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга. Краски на палитре не кладут кое-как, а уж тем более — на холсте. Русская литература всегда была делом совести. Вспомним раскаяние шукшинского Егора (Горе) в «Калине красной»: покаяние — белая церковь — на втором плане. Церковь утонувшая, заброшенная — и при выходе его из уз кутузки... Да и последние кадры, просьба его: «Воды». Не крещение ли подразумевал, а с ним и отпущение грехов (по вере Церкви) — не это ли «второй план» всего творчества Василия Макаровича...

Перечитывая В. М. Шукшина, и меряя его аршином сегодняшнее — ясно видишь, что требования к языку сегодняшних авторов — до смешного невысоки. Книги пустые, огромные фолианты — по тысяче рублей штука... (Ну, а как же, новые «великие» их лично подписали!..). «Срезали» классиков, так им и надо... Спрос же есть.

Между тем, в корне не верно, будто бы спрос и только спрос определяет предложение. Вот, Америка страдает тотальным ожирением и иными страшными болезнями от пользующегося спросом фаст-фуда, поп-корна, к которым так привыкла. Кто формирует этот «вкус» и «спрос»? На деле же ситуация обратная: везде, и в сфере книжной, предложение определяет спрос, формирует читателя, «культивирует» его взгляды, его пристрастия и воззрения. Инициативы по внедрению в массы «бестселлеров» последовательны, и небескорыстны. И то — зачем «русскому индейцу» свой собственный язык, великая, на традициях основанная литература. Прямо «Ноль-ноль целых» Шукшина, живие!

И когда я перечитываю рассказы, повести, сценарии Шукшина — каким же далёким и родным предстает он мне, ровесник по годам, по чувству, по совести

и страданию, часто — до сердцебиения! Зачем же мне предлагают (а иные уже и осуществляют) поход совсем в другую сторону — противоположную от той, куда стремился всей жизнью и своим талантом Василий Макарович Шукшин. Если есть у Василия Макаровича картинка, то она — живая. Если есть роса, луна, солнечный закат, — они тоже оригинальны по чувству и языку, а главное — и это особенно присуще таланту Шукшина — по настроению. Оригинальность, разумеется, — но и мера таланта тоже: всё хорошо в меру, или по пословице — «Душа меру знает». Много я встречал подделок под оригинальность, но — плохих: повестей, даже романов. Как метко сказано у Ю. Кузнецова: «Я один, остальные — обман и подделка». Это — об эпигонах. Шли вослед и Шукшину, сколько их было — заблудились... Но он остался и останется.

Его рассказы можно разделить на две группы: городские и деревенские. Деревенские понятней и ближе. В деревенских — два типа людей: те, что смогли уехать в город, и те, что не смогли (деление это, конечно, весьма условно). Но всех их, этих городских и уехавших, роднит одно: у них болит душа, и за них, за персонажей, и у читателя тоже болит душа. Не может не болеть. Скажут: сколько их написано, таких рассказов о «простых душах», начиная с француза Флобера, повесть которого, предварившая «Госпожу Бовари», так и называется: «Простая душа». Ан, нет, нужно было почувствовать, открыть миру именно русскую боль — и явился Шукшин...

В истории русской литературы как только не изображали крестьян: были «богосцы», «совестливые» — Глеб и Николай Успенские описали их... Были мужички-подлиповцы, мужички Н. Слепцова и И. Тургенева — «те, что могут и Бога сожрать, дай им только волю», по словам Тургенева... Был Писарев, утонувший молодым, в 28 лет, но, несомненно, своей «боевитостью» (всё пустить вразнос) — гипнотически повлиявший на Горького. До Горького мужику, крестьянину всё же сочувствовали, мужика любили, мужику «мозоль в пятку, точно ладанку вставляли» — упрекал Сергей Есенин в своих статьях-размышлениях братьев-писателей, — и «любовались ею». После Писарева, этого «литературного крёстного» Горького — Максима Пешкова, — о мужике стали писать так, что его впору стало ненавидеть. Мужику словно мстили — иные притворно, просто потому, что так стало модно. И вот уже читаем, как «бомж», бряк Челкаш мог украсть мануфактуру — и, с широкого плеча, снизойдя к бесхарактерному крестьянскому парню, — подарить безвозмездно ему всё добытое. Прославление волонтаризма, неприкрытое нищестанство сквозит и в горьковском романе «Мать» — романе крайне слабым, но (по Ленину) «своевременном»...

Горький не знал крестьян. Бродяги и пьяницы у него раскрашены странными яркими цветами, с пятнами и блёстками, с некоей претензией на исключительность. Писал, в основном, о тех, кого не знал, и Петров-Скиталец, по-первобытному бродивший с Горьким и с гусями вдоль Волги. И это видно тотчас по опубликованным ими рассказам: «Челкаш», «Море смеялось»... Потом этих самых «челкашей» Иван Бунин выведет в своих «Окаянных днях». Он при первой же встрече назвал Горького «некто в помятой шляпе». Были и другие, «развенчивавшие» мужика-крестьянина, торопившиеся разбить «становой хребет» России (так в 1990-е очень верно скажет Б. Можаяев).

Но это отношение — брезгливое, сарказмом города заражённое — это настроение перенято и подражательно используется и сегодня. Оно, небось, и грантами проплачено. Знаем, было в наши девьяности: кто выпишет мужика скотиной, да не раз, и не два, а хорошенько — те получали годовую стипендию. Так, например, подозрительно-презрительно, по-лютерански, пишет о деревне и сегодня В. Пьецух, да и не он один. Что ни книга о деревне — зарубили топором предпринимателя, или на вилах подняли. Почвенники переживали это по-своему, по-особому. Вот как писал мне Валентин Яковлевич Курбатов 20 июля 1999 года об этой «Руси уходящей», о деревенской

прозе, скорбя всем существом: «Дорогой Василий! Я прочитал Ваши рассказы (деревенские. — В.К.) и вполне понимаю Ваше смятение. Так подметаю двор, когда уже всё убрано. Это уже собирание остатков, завтра на этой „территории“ будет чисто. Как-то В. Г. Распутин очень точно сказал мне: „Я ведь всё время вынужден в своё тесто дрожжец подбрасывать, чтоб всходило. А у Виктора Петровича (Астафьева) оно само из квашни прёт, и ему всё уминать приходится, чтобы через край не валило. Правда, это уж давно сказалось. Теперь и Виктору Петровичу приходится дрожжей прищипывать. Сегодня всем деревенщикам так. Деревня уходит стремительно, вытесняется «хозяльми» (персонаж моего городского рассказа, приехавший из деревни, «вписавшийся» в город. — В. К.), а новые родиться не торопятся. Как и вообще русский человек сегодня. Простор сегодня — ‘интеллектуалам’, записным книжкам, да мешанам, а здоровому прозаику с чувством живого — труднее всех...».

«Мещане» нынешние — из грязи в князи угодили совсем неожиданно.

А писать правду, действительно, труднее всего. И не потому, что, напечатай книгу в «АСТ» или «ЭКСМО», — не станут читать, а потому, что разрекламированы иные, «запущен» в оборот — и давно — совсем иной механизм, другие имена на слуху. Потоки эти «подводные» не раз описаны в частности, Олегом Павловым. А в шорт-листе премий всё те же премианты и стипендиаты, о которых я упоминал выше. Они выстроились дружно за «писателем» Коэльо...

В советской прозе «развитого соцреализма», в рассказах — тоже наговорено много лишнего, написано о горемыках-жуликах, страдальцах, «босьяках» нового типа. А вот у Шукшина — то, да не то, — и «болит душа»... А почему болит — ни один мудрец так и не дал ответа. И сам автор не сказал. Но есть прорывы, подлинные открытия, и они — в покаянии героев у автора. Читаешь, и чувствуешь, как у него самого болела душа. А иначе зачем бы ему и говорить такую фразу: «Что с нами происходит?». Фраза эта так проста, так часто повторяема была, что всякий пройдоха норвил ею воспользоваться — и тем очевидней только обострялась проблема человека. «Что с нами происходит?» — повторяли многие всуе, — а в душах своих так и не разобрались, даже оставили, бросили эти попытки — «разобраться».

Так что же с нами происходит? С душами людей нераскаянных, завистливых. Почему — тех воров, что по мелочам тащили, тогда, в 1980-х, называли «несунами», а крупных воров сегодня — «олигархами» величают. Латифундии куплены ими и огорожены с охраной, не подойдёшь. Или мы вернулись в средние века, вспять потащились? Прелюбодеяние, блуд — называют нынче «гражданским браком»; подразумеваемую с обманом прибыль — профицитом или «маржой»... И так во всём. Ничего не изменилось с тех, восьмидесятых, разве усугубилось. «Вот она и болит, душа-то, что она, пряник, что ли?» — говорит один из героев рассказа Шукшина супруге. И что же он получает в ответ: «Пузырь... Душа у него болит...», и т.д.

Шукшин с пристрастием и зоркостью увидел наши сегодняшние проблемы — заранее, на расстоянии сорока-пятидесяти лет. В его рассказах много персонажей, ушедших в города, — но до города так и не дошедших. Они, эти как будто простые, на первый взгляд, ущербные натуры, одним словом «чудики» ушли и устроились в городах: кто в бараках с клопами, общими коридорами, туалетами, а кто и того хуже. Жили с драками, плясками под гармонь, с заёмом «тройка» до получки — но в сути своей так и остались деревенскими, а значит, с душой. И она изнывала эта душа — до невозможности, до греха смертного (вспомните Кольку Паратова из рассказа «Жена мужа в Париж провожала», покончившего с собой!)

Были и другие — те, что заимели квартиры, «отдельные секции», выучили детей в университетах, правдами и неправдами накупили столько вещей, что страшно

показать посторонним (недолго и погореть), ибо ведь не все же «эти, с юридическим образованием, сопляки», которых шукшинский персонаж Николай Гаврилович обводил вокруг пальца (рассказ «Выбираю деревню на жительство»)… И жили, и воровали, и квартиры правдами и неправдами приобретали — не для себя же, для детей. И на глазах детей. И по-своему обосновывали им, своим детям, такие свои устои жизни. А те их в свою очередь усвоили. Нацеленность на «отдельные секции», ещё лучше — на квартиру, да чтобы копейку зашибить — это вам не челкаши. Тут смотри дальше, шире смотри. Корысть — она воспитывалась, перековывала (и перековала) деревенских, переехавших в города, — в трёх поколениях. Шукшин заметил и написал, как менялась сама цель жизни, смысл существования. Несколько сборников его рассказов — стоят всей эпопеи «Руггон-Маккары» Эмиля Золя и «Утраченных иллюзий» Бальзака, вместе взятых. Потому что они понятней нам, ближе, и великие истины, которые говорят через слезу, сказаны Василием Макаровичем с горьким юмором.

Мир кухонь, складов и продмагов — не книжный мир, «настоящий»… Но тем, первым, которые уходили из деревень в города, — им тоже надо было как-то обосновываться. И тут-то герои, подобные Николаю Гавриловичу Кузовникову из названного рассказа, с виду те же «чудики», пришлемлённые, ущербные (те же, да не те!), давали сто очков вперёд коренным городским жителям. Сегодня читаешь эту прозу, и думаешь, что, не торопись Шукшин с публикациями тогда, сорок лет назад, дотяни он, докопайся до сокровенного тех «чудаков»-героев, — дотянули бы они до незабываемых характеров, до прозрений — и многое было бы понятней и в наш сегодняшний день… Кое-что они, эти недописанные «типы» Шукшина, и впрямь объясняют нам сегодня в нашем «случайном», либеральном мире многое, но не всё. А так, как написаны, эти кладовщики, бухгалтеры не до конца понятны и до сих пор: ни критикам из столиц, ни читателям из деревни. Если и читают о них сегодня, то не с удивлением, а узнавая этих типов в своих дедах, отцах, и — для отдыха, с усмешкой, по-простому, с «зубокальством». Сначала и я так читал.

«Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать её», — это одна из последних записей в книге Фёдора Абрамова (тоже почвенника) — в «Траве-мураве». Следуя этому завету мудрого, много повидавшего на свете, травленного критиками архангельского писателя, порой и впрямь хочется передумать свои и чужие рассказы, сравнить свои строчки — со строками близких мне по духу писателей. И тогда — вот тогда — какой же непростой кажется мне лёгкая, «на прилёг» или «присест», проза Шукшина!

Так «что же с нами происходит?» — или произошло уже, и последствия необратимы? По-разному можно объяснить этот, сегодняшний кризис смысла жизни. Кризис понимания долгожданных либеральных свобод — и их результатов. За этой свободой и рвались в города — в Москву, в Питер — из деревень: туда, где откроешь кран — и вода горячая! Точно по пророку Иеремии: «Отдам сокровища твои на разграбления… за грехи отцов ваших…». И кто же станет отрицать, что жертвы не были принесены? И вот, вырвавшись из восьмидесятилетнего плена вавилонского, народ тотчас попал под другой, едва ли не худший: «отдан на разграбление». Теперь уже, без милости и без возврата. Шукшин, писатель «от земли», предупреждал — его не услышали.

Творческому пути В. М. Шукшина именно публикации последних лет подводят черту. И теперь уже ясна та сокровенная мысль его, та настойчивость, с которой пробивал писатель и сценарист своего «Степана Разина». Монтаж коротких сцен ужасал даже выдавших виды критиков и режиссёров: разрубание икон, плоты из трупов казаков… «Если изъять жестокость и кровь, то, учитывая происходящее, характер действующих лиц, ситуацию, мгновенный прорыв — что и случилось, видимо, — нельзя

решить эту тему. Её лучше и не решать, потому что тогда потеряем представление о цене свободы. Эту цену знает всё человечество. Русский народ знает, чем это явление оплачивается, — писал Шукшин в ответ на отрицательное решение о судьбе фильма на худсовете 16 февраля 1971 года. Похоже на роковое предупреждение: он будто бы знал, видел, чувствовал то, что назревало... И совсем «не так просто», как это писалось и объяснялось «соцреализмом», — видел во всём ужасе и глубине. А соцреализм показывал по телевизору «Юркины рассветы», или — твердил о преемственности сталеваров в городах Электростали и Магнитогорске. Уже тогда он, Шукшин, видел, что жизнь, действительность как бы распадалась на сиюминутные дела, на истину явную и некую другую, скрытую. Непонятную. И странно было (и тогда казалось странным!..): по советским меркам материально обеспеченные люди правдами и неправдами заимели не только «отдельные секции» в городах, а — и в Москве — трёхкомнатные квартиры, с прислугой, выучили детей, сыновей (в том числе, и собственным примером жизни) в вузах. А что-то ни прибыли у них, ни счастья, ни радости — какое-то странное чувство пустоты мешает им жить дальше. И хочется выговориться, чтобы хоть кто-нибудь в этом чужом и чуждом мире — сострадал бы, кивал бы головой, сочувствовал. Какой-то не материальный, а душевный, даже духовный, уже тогда назревший кризис... Он и лечиться мог только духовно. «Выговориться» значило: исповедоваться, разделить страдание, очистить душу. Но церкви нет, есть зато вместо церкви упорствующий «Крепкий мужик», разваливший единственный храм двумя тракторами, есть «изящный чёрт», рвущийся мимо всех к алтарю (и прорвавшийся!), вместе со всей силой бесовской (сказка «До третьих петухов»). И вот — изгнаны монахи из храма, но и этого мало. Изящный чёрт «изящно» требует переписать и иконы в храме. Вот вам уже — и не храм, а сахаровский центр с выставкой «Осторожно, религия». Или я ошибаюсь?

И тут Шукшину нет равных, тут — целое открытие в литературе — эти циклы рассказов о страдающих нераскаянных душах (и в сказке, и в недописанном романе «Любовины»), которыми и каяться-то негде — только друг другу да самим себе. «Каются» они так: выпьют стакан водки без закуски и идут для беседы на вокзал (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), или — прямо к «Николаю Угоднику» — тестю (рассказ «Билет на второй сеанс»), или — к старухе-сторожихе Марии, или просто плачут у могилы («Случай на кладбище»), излагают грех свой и боль — кресту да земле под вечерним равнодушным небом и луной («Счастье ли, горе ли здесь, на земле — сияет»)...

Три очень похожих рассказа условно объединены мной в один цикл.

О нём, об этом цикле, и поведу речь. Таких рассказов — не три, не четыре, их много. Более того, один сюжет рассказа, как бы дополняется вторым и третьим (сборник рассказов «Беседы при ясной луне»). Сборник называется по наиболее яркому одноимённому рассказу. Вступление, зачин его — не броский, не триллерский, естественный: «Марья Селезнёва работала в детсадице, но у неё нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась». И тут два абзаца не для главного персонажа: зачем писать, да ещё в зачине, вступлении, как попала в сторожа Марья? А не лучше ли начать прямо и броско: «И стала она сторожить сельмаг». Но и тут Шукшин идёт от правды. «Нашли палочки», — и вот уже верится, что была и впрямь такая Марья, и всё, что с ней происходит впоследствии, — тоже было. Подробность — великая сила, а у Шукшина — особенно: она жизненна. Это — не модерн, тем более — не постмодерн, пусть и западный, где, перегревшись на солнце, какой-нибудь француз-нищанец может пристрелить негра, просто от странно упавшей тени на глаза... Итак: «И повадился к ней ночами ходить старик Баев». Главное: интерес читателя мгновенно перекидывается с Марьи на Баева, — метод, знакомый литературе.

Тип этот, Баев, узнаваемый — и всё же чисто шукшинский. Автор посмотрелся на них вдосталь, видел этих умников. Они не давали ему покоя, верно, пока не были им «выписаны» на бумагу. Мальчишкой, потеряв отца, он пошёл работать. Жил трудно, голодно, а эти — вот они: посиживают вокруг складов, тихие, сытые, незаметные в своих бухгалтериях и кладовых, умники — и сами при деле, и дегишки устроены... «Тепло, светло, и мухи не кусают». И тут кульминация начинает высвечиваться, и играть внутренний характер — через внешнее.

Баеву очень хочется выговориться, рассказать, вот хотя бы и этой Марье, какой он умный, прозорливый, удачливый, а ведь никто до сих пор так и не заметил, не оценил его. Да теперь уже, пожалуй, и не заметит никогда. Сам он жил тихо, не спорил, на глаза не лез, «не залупался», как сказал сам автор про такого же в другом своём рассказе.

Что же он делал, этот Баев? Тут следует послушать автора: «Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении — всё кидал и кидал эти кругляшки на счётах»; «наверное, с целый дом накидал», — не без намёка шутит Шукшин. А сколько честных работяг в жизни маялись, трудно жили «без угла», без дома, по общежитиям да в примках, хоть и работали, «пахали», уж верно, почище этого Баева, — и где же правда?.. «Он любил спокойных мужиков», — пишет Шукшин об одном из своих героев, любил их — и это тотчас видно — и сам автор.

Эта обида говорит о многом. А «простецкая» исповедь Баева — и того больше. И, если знать жизнь деревни того времени, — бросает в дрожь, — о многом расскажет. Бабушка моя по матери, Пелагея Тимофеевна, с двумя детьми на руках — одна, как раз об это время (баевского бухгалтерства) вдовствовала, умирала с голоду, но вынуждена была сдавать молоко государству. Да и собеседница Баева Марья — и она знает тяжкий труд в колхозе не понаслышке, говорит прямо и просто: «Да оно бы и всего так посиживали — в тепле да в почёте». «Садись! — воскликнул с сердцем Баев. — Что ж ты тут вместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай!».

И тут рассказ «Беседы при ясной луне» начинает распадаться как бы на два плана: Баеву, тепло прожившему жизнь, надо рассказать, какой он значительный — уже тем, что жить старался всегда незаметно, и не зря повторяет автор: «не высовывался». Людям свойственно говорить о себе. Почему бы вот и ему, Баеву, имевшему хороший дом, вырастившему двух дочерей, сына — и это в трудное-то, совсем голодное время — отчего же и ему не погордиться? Вот он и ходит к Марье выговориться, благо есть его, Баева, «состоявшегося», пример неоспоримый. Да и сами читатели, многие знают таких учителей по жизни. А Марья — слушает, даже кивает и поддакивает. И тогда Баев «раскручивает» себя (как теперь модно говорить, «пиарится»). В самом деле, когда всё уже позади, можно и «высунуться». Все его «умные» поступки, конторские дела говорят о том, как он заискивал перед начальством, обманывал сельчан с одной-единственной целью: устроиться самому, устроить детей — это один план, рассчитанный, если не ошибаюсь, на известного рода читателей. Тут и все подробности: советовал начальству, как объегорить сельских жителей с госпоставками молока, занижая жирность и требуя поднять объём этого самого сдаваемого крестьянами для государства молока в ущерб собственным детям. И кому, как не ему, Баеву, было не знать, что сдают жители его деревни последнее, порой отнимая у голодных ребятишек. Ясно, что от выполненных госпоставок хорошо было не только колхозному начальству, но и умному Баеву. Он учил Марью, как «надо от работы отталкиваться»; словом, среди умных — умник, «он редкого ума человек». Никто даже из колхозного начальства до этого не додумался!..

В рассказе, по этому первому его плану, собрано, кажется, всё, чтобы читателя заинтересовать, задержать: и старые анекдоты про сбор пота идут в ход, пробирку подмышку и накрыться матрацами, и «анализы», и упрощённое отношение к молодёжи — «дрыгать научились»... И, в конце концов, — мелкая трусливая душонка, отчётливо, вот она, открылась — и весь Баев перед нами, уже недвусмысленно понятен. Спрятавшийся за спину старухи (как он и прожил, скрываясь за бабьими да вдовьими, сиротскими спинами, всю свою жизнь).

«Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй! Через окно прямо!». И ведь выстрели старуха по его подсказке в парня-алкоголика, пришедшего с похмелья и перепутавшего день с ночью, убей или рань его — старуху засудили бы. Засудили бы её — а Баев, конечно, давал бы показания, и опять он наверху, не при чем. Такой умник!.. И мог бы после процесса над старухой, отряхнуться и сказать себе: «Молодец, и в тюрьме не сидел, и в войну не укуошили». Тут надо ещё и то понимать, как подбирает автор фамилии, не спроста или по случаю, и тут — «Баев» (от «баять», «заговаривать», забалтывать. Кот такой, «баюн»). Или — Неверов. В другом рассказе — Ненароков, Бронька Пупков, Сразов, или Сураз (от старого «суразный»), или вот — Ванька Тепляшин...

«Ночи стояли дивные», — пишет Шукшин, — как и всё дивно в этом мире Божьем, в его промысле о нас, грешных, но мы-то каковы? «Мы — баевы...», «Эх, мы... Это в таком-то мире...». И этот укор отчётливо слышен читателю. И тут сама профессия актёра-Шукшина озаряет строчки, играет в повествовании. Всё видишь, как в кино: жесты, мимику, движение — и это тоже одна из его редких особенностей. Хочется и смеяться, и не думать о главном. Но главное всё равно находит читателя, западает в душу, не даёт покоя и долго потом прорастает, оживает, не отпускает: «Как же мы живём!».

Смею утверждать, что именно для этого, для второго плана и написаны рассказы и сценарии Шукшина. Морализаторством, прямым показом и резонёрством «высоколобого» советского читателя, «физика и лирика» и тогда было — не пронять. Но у Василия Макаровича почему-то увидели только «развлекуху», «чудиков» — главного не увидели. Или не хотели увидеть. Невыгодно было тогда видеть — всё это «по существу» и сегодня, по большей части — некому и незачем. Читают прозу, вообще любую, в наше время (по статистике) только четыре процента населения, а тогда читали — едва ли не девять десятых. Михаил Шолохов сказал о нём, о Шукшине: «Он появился удивительно вовремя».

Какова же скрытая идея многих его рассказов — и разбираемых, и существующих, но не затронутых здесь в качестве примера? В них всегда есть нечто главное — по сути человеческого бытия, по смыслу человеческого существования. Василий Макарович Шукшин — не «баев». Рассказать нам, повеселить или удивить своим талантом, знанием народа и народца, покрасоваться — словом, «просиять», как сиял, рассказывая, передавая свои подвиги Марье, Баев, — это не все. Цель автора — не удивить (и тем подняться в наших глазах), а — показать сокровенное через внешнее... Но все ли видели, чувствовали это при жизни Шукшина? Обидно, что при жизни его ценили мало, при том, что писали о нём нередко (чаще — равнодушно, скучно или с укором за приземлённость, мелкотемье, поверхностность).

Марья знала Баева и до этих бесед. Умного, хитрого ловкача Баева, отчего-то мучила бессонница: «Последнее время, — читаем мы, — Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать». И вот тут вторая «сверхзадача»: все эти «почему» поставлены едва ли не во всей прозе В. М. Шукшина.

Я выбрал три рассказа. Можно бы разобрать и другие: и «На кладбище», и «Страдания молодого Ваганова», и «Как помирал старик». Везде присутствует этот второй

план, это «почему». Надо сказать, ни одна философия мира не разгадала причины этой тревоги и бессонницы, этого вечного вопроса о мятущейся душе человеческой.

В рассказе «Выбираю деревню на жительство» некто «Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил»... «Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче.

И он пошёл по складскому делу — стал кладовщиком, и всю жизнь кладовщиком был, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию». И тут тип уже знакомый, родственник Баеву, с похожим характером. Философия жизни его не идёт дальше обывательского мировоззрения: «ушёл из деревни и понял...». Канва первого плана в общих чертах уже ясна: воровал, «ни разу не поймали его, ни один из этих, с университетским значком». Тоже, как и Баев, устроился сам, квартира, дети живут отдельно, он — со старухой. Но рассказчик не был бы так талантлив и самобытен, если бы не ставил (исподволь) всё тот же вечный вопрос, разрешения которому нет ни у главного героя, ни у автора — ни у кого. «Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить». И всё же пытался. Как же? А вот как: выпивал стаканчик и ехал на вокзал. Почему именно на вокзал, и с кем он там разговаривал? С мужиками, как ему казалось, проще говорить, лучше поймут. Надо выговориться, выкинуть из сердца всё, что волнует. В конце концов, и узнать жизнь современной ему деревни: что изменилось? — мысленно сравнить её с той, которую помнил, цену которой знал на свой лад. Много надо было узнать хорошо пристроившемуся в городе кладовщику.

А для того нужно было завязать живой разговор, всё об одном и том же: кругом в городе хамство, воровство, ложь. Пива не доливают, и прочее.

И тут надо бы Николаю Григорьевичу переоценить все ценности и в себе самом: «Сам тоже ругался во всю на шофёров, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это всё как-то вдруг забылось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют». И вновь канва рассказа не сверкает, её надо разглядеть, увидеть. Пьющий в одиночку человек настораживает. Мы их редко видим, не у всех у них, но у многих, чаще всего, есть некая боль и желание выговориться. У этих пьющих в одиночку, часто и благополучных внешне — внутренне всё не так уж благополучно, что-то происходит в душе человека, разлад какой-то, противоречие. «Никуда Николай Григорьевич не собирался уезжать». То, как он жил, живёт, и будет жить дальше, — ясно по прочтении рассказа. Ну, сходил и сходил к проезжавшим мужикам на вокзал. Поговорил раз, другой, третий, потрепался в этом закуренном и заплёванном туалете — и будет же. А он всё ходил, и это стало потребностью: «Он теперь не мог без этого». Тайна души... И здесь неясность: зачем?

Попытка выявить тайну души человеческой через его, человека, поступки — вот второй план, — суть многих замыслов Шукшина, своеобразие его таланта. Много ли сегодня таких находок, которые ставили бы — вопросы?.. Задача писателя — ставить вопросы. Отвечать или не отвечать на них — каждый решает по-своему. Возможен ли сегодня Николай Гаврилович? Станет ли кто-нибудь бить себя в грудь, разговаривать с таким Николаем Гавриловичем — сегодня? Нет! И не только в туалете, а и вообще где бы то ни было. Есть ли сегодня, остались ли такие разговорчивые мужики? Не знаю, сомневаюсь, и сильно сомневаюсь. Время то ушло, народ стал ещё жёстче, ещё недоверчивей, непримиримей, что ли. Хоть кажется порой, что вот, и церкви

пооткрывали. Но не хватает церковей. И вот вопрос вопросов: почему с ним, с Николаем Григорьевичем, не станут говорить сегодня, объяснять, сочувствовать и понимать?.. Не прошло и сорока лет со дня написания рассказа.

Рассказ «Билетик на второй сеанс» своим заглавием говорит о многом. Жизнь прожита не так, как хотелось бы главному герою рассказа, Тимофею Худякову. Ему «...опостылело всё на свете. Так бы вот встал на четвереньки и закричал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы». Как, знакомо?! Сколько сегодня тех, у которых «всё есть», и не только «отдельные секции», а и яхты, и «БМВ», и «Инфинити»... — их тысячи, у них полный достаток. И не сравнить их по достатку с этим Худяковым — а жизни нет. «Пил со сторожем, у себя на складе», пил и изливал всю боль сторожу Ермолаю, жаловался — да так, как понял и смог сказать только Шукшин: «Судьба — сучка... — и дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись...». Это эксклюзивный, как сказали бы сегодня, чисто авторский стиль Шукшина. И сегодня пьют с «излиянием души», не только на складах, а — пьют и плачут. Даже и на Мальдивах, в Куршевелях... Даже на «Авроре» в Питере — сильные мира сего, взявшие много на себя, пили и плакали, даже прыгали с борта неглиже, — не помогло и это. Лучше, легче не становится. Почему? И вот здесь — тайна. И Тимофеев таких немало. Удивляет не персонаж — персонаж в общих чертах уже знаком. Монолог случился, а не диалог. Почему? А что глупому сторожу Ермолаю скажешь? Поймёт ли он, как накипело, как она, жизнь, внешне одарив, — обидела! Беспощадно! Как она не состоялась! А могла бы состояться. Но в каком случае? Вот откуда начинаются догадки.

Дело, кажется, даже не в подлинности чувства, выраженного в забористом монологе, — дело в средствах раскрытия характера, подлинно русского, мятущегося... а с чего — и сам не поймёт он, этот Худяков. Вот краешек-частица русской души, где, в какой литературе, какой страны найдёшь такое страдание без видимой причины? И тут Шукшин — продолжатель национальных традиций в своих рассказах — открытиях характеров, судеб, со всеми их изъятиями-ошибками. Оттого и получила такой резонанс его «Калина Красная», этот «зов души», зов к сочувствию, которое отмечал ещё Лев Толстой. Боль эта, повторяю, пожалуй, характерна только для русского, и понятна одному только русскому. Голос этот не заставляет, не обрекает — только будит, мучит и требует проснуться. Откуда эта тоска? «А что, Антоныч, — вдруг спросил весёлый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?» — «Какая же скука?» — неохотно отвечал Панов. — «А мне другой раз так скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». — «Вишь ты!» — сказал Панов. — «Я тогда деньги то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня, думаю: дай пьян нарежусь». (Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). Но дело не только и не столько в скуке, это понятно.

У Шукшина сторож Ермолай притворялся, что не понимал кладовщика Худякова, но, верно, знал, думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал. И не попался ни разу, паразит!». «Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего». — «Пройдёт». — «Не проходило». И все эти разные «кающиеся» ищут слушателя, совершают поступки непредсказуемые: таково их внутренне состояние. Домой ему, кладовщику, идти не хочется, «там тоже тоска, ещё хуже: жена начнёт нудить». Погода тоже под стать настроению. Автор даёт броские, яркие, краткие и оригинальные детали: «Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным жёлтым огнём. Холодно, тоскливо. И как-то противно-ясно...». Всё ясно и читателю. Без обиняков. Тимофей шёл и раздумывал. О чём? Всё о том же: «Вот — жил, подошёл к концу».

«А Ермоха, — сравнил Тимофей, — например, всю жизнь прожил валиком — рыба-чил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы». Ермолай завидует нищему по сравнению с ним. Странно? Завидует спокойствию, с которым тот прожил, возможности его, Ермолая, собой заниматься, своей душой, любимыми делами, не размениваться на... И пошёл он к Поле Тепляшиной, «крутили» когда-то преступную любовь. Но там, как говорят, от ворот поворот. Поля даже удивилась: «Вона! Вот так гость. За-чем это?». И пить отказалась с ним она, давняя приятельница, и разговор получился нехороший: укоряли друг друга, свара. Тимофей заключил: «Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак всё в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, — ему с кривинкой сойдёт, с гнильцой...». Вот что он говорит в лицо ей, бывшей возлюбленной, — так жмёт в груди восставшая, мучающая душа. И откуда эта боль, не понять никак. А боль духовная, не душевная даже, а духовная — как её руганью с людьми да водкой унять — нет, никак невозможно. Всё это характерно для рассказов и вообще для творчества Шукшина. Читателю кажется, что эта боль от ненасытности, от зависти, от многих неисполненных запросов и ожиданий, от жизни. Так нет, ясно: имей герой в сто, в тысячи раз больше, чем он имеет, — боль не ушла бы, даже возросла бы с удвоенной, утроенной силой. Вот, сегодня гремят грандиозные попойки в куршевелях детей этих кладовщиков, плоть от плоти, и чиновников, бывших «партейных», — их пляски нагишом на «Авроре». И — новый кризис, и выкупы ими, детьми кладовщиков, — знаменитых изделий Фаберже и икон («чёрных досок», как они называют иконы), а толку — пшик. Деньги сберегли, а душа всё равно болит, требует чего-то иного.

И опять удивляешься, как понята, найдена им, Шукшиным, эта боль, которая в наши дни, спустя полвека, уже начнёт так выворачивать, так чистить непокорные и неверные души, что — им «и в церкви всё не так, всё не так, как надо». От этого, быть может, и взрываются метро и аэропорты — всё от той же, от несмолкающей боли души: «И охладеет любовь». И если бы речь шла только о непонятном, не поня-том, как «о крашеном яичке на Пасху!» А и любовь-то ему, Тимофею, представляется «убогой», «ублюдочной», — словами автора. По Сеньке и шапка, как говорят. Или ещё так: «Какой идёт, такая и встречается». Но он — и это тоже общее правило — ищет ответа во внешнем, не в себе. Искать ответ на свои вопросы в себе самом — об этом нет и мысли.

В развязке рассказа характер раскрывается и вовсе в интересном ракурсе. С пья-ных глаз Тимофей будто бы принял тестя за Николая Угодника: «Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок». «Угодник», как ему и положено всё знать, — знает, и сразу берёт «быка за рога»: «С чего тоска-то?» — «Тоска-то? А Бог её знает! Не ве-рим больше, вот и тоска».

Тимофей не сразу открывается «Угоднику», призраку, всё разговор идёт вокруг да около: «Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим... Вот она и тоска». Разговор с «Угодником» напоминает ссору с Полиной: «спаскудился народ», «пьют, воруют»... «Я и то приворовываю на складе», «родиться бы мне ишо разок! А?».

Как же видит Тимофей своё второе рождение и «второй сеанс»? До самого пре-вращения Николая Угодника в тестя идёт перечисление всех желаний Тимофея, впе-ремежку с жалобами: «любовь, что чирей на одном месте», «мне бы в начальстве походить». И это — после осуждения общей жизни и мнимого сокрушения о закры-тии церковей — тут ни капли покаяния. Желания Тимофея в этой сценке с Николаем Угодником не взлетают до понимания истинных причин тоски. Ясно, что, если бы и пожаловал ему Угодник «второй сеанс», в жизни — всё было бы то же, что и на «се-ансе первом». Ходит Тимофей в прокурорах, берёт взятки, жена, хоть и «с сахарными

зубами», — а счастья нет, и он похаживает к другой. Не было бы, разве, битья окон: всё же прокурор. Да и то как сказать...

Но вот происходит превращение Угодника в тестя. Желание Тимофея «законопатить» тестя за язычину его — чудесным образом совершило превращение, и вот он обернулся — и перед ним тесть. «Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе билетик на второй сеанс!». Все выглядело бы поспешным, и наивным, и смешным — но читатель готов принять и это: боль ведь у человека. Другой писатель, не Шукшин, тут бы и окончил рассказ.

У Шукшина же вот ради каких слов написан рассказ — а они в самом конце и скрывают этот кураж, притворство — последние слова: «Прости великодушно». И тотчас ясно, что за Угодника он тестя и не принимал, и что всё это было то же: придурь, шутка от боли, притворство — от сомнений и угрызений совести. Вот где подлинная исповедь: «В том-то и дело, что не знаю. Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б всё честно сказал, только не знаю, что такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. На-смерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно». Лишь здесь безысходность закончена и заменена истиной: «Прости» (так же ваньку валял и Егор Прокудин, в его, Шукшина, «Калине красной»).

В один ряд с рассмотренными тремя шукшинскими рассказами можно поставить и другие. В некоторых — персонаж с зачина становится в строй «тоскующих», «мучимых» совестью и терзаниями собственной души.

«По воскресениям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал её, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжёлым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась поцеловать.

— Опять!.. Навалилась.

— О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?».

Кажется иногда, что помимо воли самого автора впадают в кошунство его персонажи. И всё от одного и того же — от поиска выхода из обыденки тусклого и мертвящего существования. Автор, как в цирке, возводит неприступную стену — тяжело смотреть, потом, на глазах у зрителей, не перепрыгивает эту стену, как ожидали, не перелетает её на крыльях, а перелезает, под смех и рукоплескания довольной публики. Тут и персонаж, и автор — актёры.

Присутствие автора ощущается во всех рассказах Шукшина. Дистанция «автор — герой», порой совершенно стёрта, неприметна. Местами автор спешит — пишет и пишет, словно слыша биение собственного сердца, которое с каждым ударом отмеряет ему время жизни. И от этой спешки (по его прозе) создаётся впечатление, что и в жизни автор равен герою: всё то же — неустроенность быта, рытьё котлованов, поиски радости, поздняя семья и большая душа. Потому что то, отчего так она «свербит», так «наваливается», эта самая тоска (чего никак не понимают ни жена, ни тёща, ни друзья), — нам, пожалуй, никто не объяснил, не смог объяснить ни до Шукшина, ни после его ухода.

Оттого так трогают его произведения, что они выстраданы. С ним самим — даже и не с автором, а с человеком — случилось то же, что и с его героями: тяжёлые годы учёбы, медные деньги, метания между писательством (по ночам, на кухне, с пепельницей, полной окурков, и крепким кофе) — и семьёй, литературой — и актёрством, режиссурой с долгими отлучками... Высокие требования к себе, поспешное

самообразование (на недостаток времени для образования более предметного он так часто сетовал), первый успех — и вновь непонимание. Всё это сожгло жизнь замечательного, оригинального писателя, убило на взлёте, в самом начале успеха. И тогда кинулись писать о нём: и Александр Чаковский, и неизвестный никому тогда молодой Владимир Коробов. Но более всего — за его русскость, черты, дорогие нам в С. Есенине, А. Пушкине, Ф. Тютчеве, — мстили ему, и особенно «сладостно» и безнаказанно, — после его гибели. Некто Фридрих Горенштейн в статье «Алтайский воспитанник московской интеллигенции (Вместо некролога)» написал — что называется, «срезал»: «Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея — только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, и — сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожому, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массового явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему незнакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна...».

За что же такая мстительность? И почему сегодня никто не напишет о Шукшине «толстую книгу» за премию за многие миллионы, такой «гроссбух»?.. Заказа нет? Не из-за того ли, что точно известно, что сегодня Василий Макарович Шукшин сказал и написал бы о нашем, нынешнем времени (сахаровских центров, «болотных» улиц и площадей, гнусных треков, отрежессированных в Храме Христа Спасителя для «Пуси-Райет» — название, которое и произнести, и на русский-то язык перевести и прочитать — дико!..)? Он написал бы о совести, о душе, о «владельцах заводов, дворцов, пароходов». И известно, на чьей он был бы сегодня стороне, со своей всеотзывчивостью подлинно русской души. Не простят Шукшину и того, что он предпочитал говорить со своим народом на равных: «Художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных» (статья «Нравственность есть правда»). И ещё: «Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман — места мало, времени мало, читают на ходу» («Как я понимаю рассказ»). Шукшин прожил недолго, сама его жизнь была коротка и вся на виду, как и его рассказы — любимый им, признанный им как «неисчерпаемый» жанр.

«Критическое отношение к себе — вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве, и в литературе: сознаёшь свою долю честно — будет толк» (Василий Шукшин).

И сам я, когда «накатывает» тоска, когда тревожит что-то душу, — не пристраиваюсь к толпе торопящихся на очередную премьеру, а иду в храм Божий. Или, если не складывается — беру с полки Шукшина Василия Макаровича. Беру и перечитываю..

